**Святая Гора в русской литературе: книга Бориса Зайцева «Афон»**

Традиция изображения Афона в отечественной словесности формировалась в ХVIII – ХIХ вв. и находила воплощение в воспоминаниях паломников, очерковых произведениях (В.Григорович-Барский, Н.Благовещенский, К.Леонтьев, Н.Страхов и др.), а также в иноческой литературе о Святой Горе – книгах Святогорца (иеросхимонаха Сергия (Веснина)), инока Парфения (Агеева), монаха Азарии (Попцова).[[1]](#footnote-1) Однако собственно *художественное* освоение этой темы открывается книгой *«Афон» Бориса Константиновича Зайцева* (1881 – 1972) – видного русского писателя Серебряного века и первой волны эмиграции.

В мае 1927 г. Зайцев совершил 17-дневное паломничество на Святую Гору. По его завершении из серии газетных публикаций сложилось целостное произведение, ставшее *путевым дневником, историческим очерком, проникновенной исповедью автора*, который «был на Афоне православным человеком и русским художником»[[2]](#footnote-2) и с трепетом ощутил здесь дух утраченной России.

Экспозиционные штрихи к описанию Афона, представшего «в своем вековом и благосклонном величии», передают особое состояние этого «острова молитвы», который «мало занят внешним» и в то же время свободен от жесткой противопоставленности окружающему миру, ибо не угроза, а любовь задавала тон в «тысячелетнем монашеском царстве». Библейские и литургические ассоциации возникают у повествователя при первом соприкосновении с афонским горным пейзажем, в котором он распознает нечто «ветхозаветно-грандиозное», прозревая на недосягаемой горной высоте образ «престола неба». Панорамное изображение афонского уклада, сердечное вживание в атмосферу монастырских покоев воскрешают в его памяти «образ давней, навсегда ушедшей Руси, что отводит к детству, быту и провинции» и сочетаются с первым вглядыванием в персонажный мир. Мелькнувший в начальной части силуэт «скромного монашка» художественно ассоциируется с собирательным, близким эмигрантской участи самого автора образом странника: «Я не запомнил его имени. Даже и внешность не удержалась. Один из тех безвестных и смиренных, каких много я встречал потом на Афоне, не имеющих куда преклонить главы, иногда всю жизнь проводящих в странничестве, иногда оседающих где-нибудь при скитах и келиях, на тяжелой работе и полуголодной жизни. Иногда живут они и совсем пустыннически в небольших каливах. Разные среди них бывают типы – от бродяжки до подвижника… славящего в тишине Бога. Иные на самом Афоне полагают, что среди таких-то вот, в безвестности и внешнем бесславии, и живет слава Афона».

Изображение афонского монашеского бытия развивается как в обзорных, так и детализированных зарисовках Пантократора, Ватопеда, Андреевского скита, Пантелеймонова монастыря и особенно Старого Руссика – «колыбели русского монашества на Афоне», где, по ощущению автора, Византия уступала место «бедности и скромности… какого-нибудь среднерусского монастырька», где «с любопытством и доброжелательным удивлением глядели на нас русские серые глаза, простые лица полумонашеского, полукрестьянского общежития».

История и сегодняшний день монастыря св. Пантелеймона побуждают автора к раздумьям о надвременном смысле «облика Целителя и Утешителя-отрока, укрепленного в Восточной Церкви», к тому, чтобы в его изображении различить «звук величайшей мировой нежности», особенно внятный, по мысли Зайцева, русскому сердцу, которое «раскрывается на призыв кроткого Великомученика»: «Это преимущественно “русский” святой, как и Николай Мирликийский». Русский идеал тихой, кроткой, чуждой экстатическим проявлениям святости, который немногим ранее постигался писателем в личности преподобного Сергия («Преподобный Сергий Радонежский», 1925[[3]](#footnote-3)), воспринимается здесь как противовес разрушительным стихиям национальной истории: «Не потому ли он так привился у русских, что России более, чем какой-либо стране, при ее великих, но подчас слепых силах и страстях, ее великой иногда тьме и “карамазовщине”, более чем кому-либо нужна целительная ложечка св. Пантелеймона?» В послереволюционных условиях, когда «нет России, и нет поддержки оттуда», эмигрантская среда русского Парижа, русской Сербии, откуда идут в афонские монахи, позволяет, как верится автору, этому идеалу святости не оскудеть до конца.

*Глазами воцерковленного мирянина* увидена в книге и литургическая жизнь Афона. Молитва за всенощным бдением в Андреевском скиту, во время которой на рассказчика «все взглянуло взором загадочного мира», помогает ему прочувствовать и передать отличие монастыря от приходского храма, поскольку «Церковь в миру окружена жизнью, ее столкновениями, драмами и печалями», а «здесь все ровнее, прохладнее, как бы отрешеннее», пропитано «воздухом предгорий», устремляющим к «вершинам духа». Вслушивание в читаемые за богослужением житийные и святоотеческие творения, проникновение в их богатый образный мир рождают в Зайцеве-писателе размышления о художественной силе этих текстов, воспринимаемых, однако, в монастыре в качестве «не возвышенной поэзии и перворазрядной литературы, не “лирического вопля” синайского игумена», а как «часть внутренней жизни, урок в битве за душу, за взращивание и воспитание высшего в человеке за счет низшего».

Посещение гробницы Андреевского скита, приоткрывающее опыт афонского восприятия смерти и напоминающее автору об описанных Святогорцем местных традициях погребения, приближает его к пониманию духовного идеала Афона, состоящего в «малозаметной, “невыдающейся” жизни в Боге и свете, настолько скромной, что точно бы она отклоняет от себя все сильно действующее на воображение: чудеса, видения, нетленность мощей». Глубоко принятая в сердце, афонская атмосфера прирастает у Зайцева автобиографическими ассоциациями, лирическими воспоминаниями о детстве, России, «родных лесах калужских», «голосах коренной русской речи», что уже первым рецензентам этой книги дало основание заметить, что «автор принес с собой на Афон смиренную готовность принять, не рассуждая, не сомневаясь, весь целиком, открывшийся ему особенный мир… Его Афон добрый и спокойный. Паломника всюду окружает и несет волна любовной ласковости»[[4]](#footnote-4).

*Художническое мировидение открывает автору книги путь к постижению как важных сторон афонской жизни, так и сокровенных процессов, происходящих в душе, впитавшей атмосферу Святой Горы*. Писатель чутко улавливает особый «эстетический ритм» взаимного обращения на Афоне, с мягкими, неспешными «манерами, движениями, речью, поклонами», врачующий даже на короткое время попавшего сюда мирянина и благоприятствующий «наибольшему расцвету лучших человеческих свойств». Переживший в молодости увлечение «жизнетворческими» концепциями Серебряного века, Зайцев интуитивно прозревает, как уединенное бытие в Боге приводит к тому, что «здесь самую жизнь обращают в священную поэму», земная обыденность претворяется в неустанное, приближающее к вечности молитвенное делание, ибо «когда все спят, здесь, на пустынном мысу, сотни людей предстоят Богу». В утонченно-ассоциативном восприятии Зайцева, образно соотносящего далекие исторические эпохи, *опыт Афона знаменует христианское одухотворение многовекового пути человеческого рода*, начиная с языческой древности, запечатленной в гомеровском эпосе: «Тишина, полдень. Слева Афон и горы, справа море с туманными, голубоватыми, тоже будто плывущими в зеркальности островами… И, быть может, в ясный день, в хорошую подзорную трубу я рассмотрел бы рыжие холмы тысячелетней Трои. Передают же “баснописцы”, что на горе Афон были видны условные огни греков под Троей, и Афонская вершина будто бы передавала их царице Клитемнестре… Теплым кармином тронул “Эос” верхушку Святой Горы, церковку Преображения…»

Избранный Зайцевым *путь образного вживания в духовный и природный мир Афона* вызвал в эмигрантской религиозно-философской критике примечательные, хотя и не бесспорные соображения об этой книге как свидетельстве медленного, не всегда последовательного, но все же «возвращения всей культуры к Церкви»[[5]](#footnote-5). Притом, что «Зайцев полюбил Церковь, познал то, что в ней есть ключ к жизни, он чувствует тайну Церкви»[[6]](#footnote-6), все же паломник и художник, эти «две души афонского странника незримо борются между собою»[[7]](#footnote-7), а в Церкви автор «ищет прежде всего ее человеческую сторону – тут ему все яснее и дороже»[[8]](#footnote-8).

Панорама бытия Святой Горы расширяется у Зайцева *в живописании самых разнообразных людских судеб, связанных с Афоном*. В разделе «Святые Афона», художественно переосмысляя патериковый материал, автор рисует образы святых Петра и Афанасия Афонских – «воплотителя типа молчальников», жившего «вне» истории и ведшего разговор «только с Богом, морем, звездами», и «святого-деятеля», «гиганта исполинской силы», созидателя общинной жизни, «как бы Петра Великого Афона»; Иоанна Кукузеля – монастырского пастуха, «христианского Орфея», «музыканта Господня», в чьем лице «Церковь благословила поэта и певца». В этих живых портретах, далеких от иконописной условности, антиномично соединились прошлое и настоящее афонской земли, история и вечность, человеческое творчество и Божественное Промышление. Укоренившееся здесь «отношение к святым, как к только что ушедшим», интуиция о том, что все «теперешнее еще полно ими», приоткрывают таинственную сопряженность их опыта, духовных устремлений и борений с жизнью предметного мира: промыслительная смерть св. Афанасия под рухнувшим куполом возводимого его трудами храма высветила «связь строителя со строением, его глубокое внедрение в земное творчество».

Участный художнический взор обращен в книге Зайцева и на непосредственных спутников и собеседников. Это и приоткрывшаяся повествователю история монастырского библиотекаря иеромонаха В., с его трудным, растянувшимся на годы уходом от мирской жизни, что отдаленно, по контрасту ассоциируется с «бегством» Толстого («Но ему была помощь, а Толстой одинок, опутан до конца тоской, пленом постылой жизни»), и «драматургично» переданный спор афонского отшельника с прибывшим на Святую Гору доктором, который тщетно пытается связать монастырский ритм с политическими баталиями во внешнем мире. Это и многие другие, подчас кратковременные спутники и проводники, чьи черты навсегда слились в авторской памяти с духом Афона, его вековечными тайнами.

В прощальных описаниях Афонской горы зримое пространство расширяется до бесконечности, оживляет память о «глухих краях близ Сарова», напоенных «дальним гулом лесов», и, просвечиваясь «апокалипсическими сияниями», возвышает авторское воображение до *молитвенного созерцания грани иного мира*: «В своем грешном сердце уношу частицу света афонского, несу ее благоговейно, и, что бы ни случилось со мной в жизни, мне не забыть этого странствия и поклонения, как, верю, не погаснуть в ветрах мира самой искре. В час пустынный, пред звездами, морем, можно снять шляпу и, перекрестившись, вспомнить о живых и мертвых, кого почитал, любил, к кому был близок, вслух прочесть молитву Господню».

 «Афон» Б.Зайцева явился художественным свидетельством о духовных поисках и прозрениях русской эмигрантской интеллигенции довоенной поры и одновременно выдающимся литературным памятником Святой Горе, ее древнему духовному укладу. Поистине «над этой книгой хорошо думается: о самом важном, о жизни, об истории, о вечности».[[9]](#footnote-9)

1. См.: Вах К. Афон и русская литература ХIХ века // <http://afonit.info/biblioteka/russkij-afon/afon-i-russkaya-literatura> ; Воропаева Е. «Афон» Бориса Зайцева // <http://www.isihazm.ru/?id=824> [↑](#footnote-ref-1)
2. Текст книги Б.Зайцева «Афон» цитируется по: <http://www.isihazm.ru/?id=824> [↑](#footnote-ref-2)
3. Свящ. Илия Ничипоров Преподобный Сергий Радонежский в русской литературе ХХ века // Московские Епархиальные ведомости. 2013. № 9 – 10. С.95 – 97. [↑](#footnote-ref-3)
4. Федотов Г. Борис Зайцев «Афон» // Современные записки. Париж, 1930. ХLI. С.537, 539. [↑](#footnote-ref-4)
5. Зеньковский В., прот. Религиозные темы в творчестве Б.К.Зайцева (к пятидесятилетию литературной деятельности) // Вестник РСХД. Париж, 1952. № 1. С.23 – 24. [↑](#footnote-ref-5)
6. Там же. С.22. [↑](#footnote-ref-6)
7. Федотов Г. Указ. соч. С.537. [↑](#footnote-ref-7)
8. Зеньковский В., прот. Указ. соч. С.22. [↑](#footnote-ref-8)
9. Федотов Г. Указ. соч. С.540. [↑](#footnote-ref-9)